

Любовь Миляева

## Свобода Бакса

Рассказ

– Батя, глянь-ка, вон язык на бок, шерсть дыбом, полетел так, аж хвост по ветру – неторопливо снимая запыхлённые калоши, пробасил Митяй.

Деревенские парни ещё в восьмом классе прозвали его бугаём – прозвище прицепилось намертво. Теперь даже сельский голова, завидев Дмитрия Степановича, спешит ударить слегка ему в живот кулаком и, прищулив щучьи глаза, восклицает: «Здорово, Бугай! Ну, что-о-о? – с ехидцей потягивая каждое слово, интересуется – Как там жизнь городская? В гости, поди-кась опять прибыл? К нам-то вернуться не надумал?»

Отец Митяя, не обделённый от природы здоровьем, но заметно осунувшийся в последние три года, и тот давно обращается к сыну, не иначе как – Детина. Только для матери, Софьи Николаевны имя сына всегда остаётся неизменно – Митюша, да Митенька.

«Какой он уж теперь Митю-ю-ю-ша! – подтрунивал Степан Никифорович, ласково глядя на плачущую от радости жену, кинувшуюся прямо с пожелтевшим подойником в руке обнимать сына, вогнавшего белое морозное облако январского воздуха в открытую деревянную дверь, обитую с внешней, как говорил отец, «сеношной» стороны избы плотным слоем тёмно-серого войлока. – Это, мать – продолжал он, приосанившись, – теперь не Митю-ю-юша. Во-о-он уж под пуп твоя слезливая голова ему упёрлась. Он у нас теперь герой. – И, широко раскрыв руки, словно показывая, что всем сердцем отцовским готов заключить сына в объятия, обратился к

Митяю: Заходи в дом, Детинушка! Смотри только потолок своими кучерями не ошкрябай». Кучерями потом ещё месяца два называл он Митькины коротко остриженные тёмного цвета волосы, с проседью от афганских армейских будней.

– Смотри-ка, – восторгался Митяй, прижав рукой край ситцевой, снизу отороченной шитьём, занавески, и уткнувшись носом в стекло, так что на нём в июньский день образовалось матовое влажное озерцо от густого дыхания. – Дорвался до свободы! Лапы кверху. На спине, на спине шпарит по двору!

Дмитрий, приезжая к родителям, часами мог возиться с этим длинношёрстым псом неизвестной породы. Митька проникся к нему какой-то удивительной нежностью с того момента как умещающимся на ладони щенком отец принёс его в дом, так толком и не объяснив где взял. «Вот, мать, подарила нам с тобой дорога на старости лет Цуцика!» – проговорил он, мягким голосом, улыбаясь глазами и осторожно открывая верхний уголок какого-то выцветшего махрового полотенца, обёрнутого вокруг щенка в подобие одеяльца на грудном ребёнке.

Но Цуциком щенок был недолго, в процессе возрастания он стал – Бакс. Существовал, правда ещё промежуточный вариант – через полтора месяца Софья Николаевна окрестила его «пяточком», за привычку морщить нос, облизываясь после почмокивающего и пофыркивающего поглощения очередного собачьего обеда из алюминиевой, слегка помятой с боков миски. Но уже на четвёртом месяце жизни Бакс обрёл своё законно-оправданное голосом и поведением имя.

– Ух, шельмец! – не унимался Дмитрий. – Всю пылищу сейчас на свою шкуру сгрёбёт. А морда-то довольнѣхонькая!

Отец, не отрываясь от своего занятия, исподлобья глянул в окно, и принялся дальше скручивать потемневшими и неровными от мозолей пальцами, свою самокрутку. Страсть к самокрутке осталась у Степана Никифоровича с фронтовых лет. Никаких папирос и тем более сигарет он не признавал. И самокрутку крутил, что называется с чувством, с толком... Оторвёт сначала аккуратно небольшой кусочек газетки, причмокивая согнёт пальцами, так, чтобы получилась канавка. Держа одной рукой газетный обрывок – другой из брезентового мешочка возьмёт щѣпоть табака, и старательно распределив по всей газетной ложбинке, осторожно начинает скручивать. Осмотрит внимательно, на минутку задумается, будто вспоминает чего и, вздохнув, проведя свободным краем газетки по нижней губе, начинает какими-то загадочными движениями пальцев проходить по всей этой конструкции от одного конца к другому. Потом вдруг резкими движениями сломав сантиметра три с одного конца гармошкой, оторвёт самый краешек и, оглядев ещё раз, словно любуясь на своё создание, прикусывает губами свёрнутый гармошкой край самокрутки, непременно в правом углу рта. Приосанится и подкуривает. Обязательно от спички. Современных зажигалок отец тоже не признавал. «Эти шмыгалки – говорил он о зажигалке, – не огонь для души, а изжога для пальцев».

– Сорвался, мордovorот! – охнула Софья Николаевна, глядя в окно и торопливо вытирая руки о тёмно-синий с мелкими белыми цветами фартук. Ловко

подоткнув один угол фартука за пояс, строго обратилась к сыну: Это ты что ли, Митенька, отпустил его? Чего удумал? Я ведь утром ещё предупредила – проволоку натяни меж столбиками, где бельё сушим и на длинный поводок его, пусть пообвыкнет недельку. А ты вон чего выдумал – спустил! Его же теперь сутки домой не изловишь.

Она быстрым, полным обиды взглядом окинула Степана Никифоровича, корпящим над самокруткой, и бросив: «Ты, пооди, отец, позволил!» – ворча что-то ещё себе под нос, но при этом, приподняв кверху подбородок, словно демонстрируя, что обиделась теперь не на шутку спешно вышла в сени. Забрнчав там ведрами, банками...

– Обиделась мать – словно извиняясь, пробурчал Степан Никифорович, на секунду оторвавшись от своего занятия.

– Ба-а-тя! Да чего уж она? – не переставая восхищённо наблюдать в окно за Баксом, успокоил отца Митяй. – Ну, побегает, порезвится. Тоже не сладко же псу – всю весну почти на короткой привязи просидел.

Тут заёрзав на табуретке, приготовился вступить в разговор Валентиныч, внимательно наблюдавший за Баксом сидя на табурете за столом и пивший свежезаваренный смородиновый чай. Громко отхлебнув, он поставил фарфоровую кружку на стол, сделанный Степаном Никифоровичем собственноручно. Столешница, вытесанная в круг из двух широких сосновых досок, располагалась на трёх резных ножках.

Продолжая смотреть в окно на пса, уже оголтело помчавшегося по дороге в сторону окраины деревни, Валентиныч со вздохом произнёс:

– Вон, мы тоже дорвались до свободы не хуже Бакса. Досиделись на цепи, а тут – нате! – Валентиныч, забыв о

чае, придавив ладонью край стола, продолжил, – Привалила горбатая перестройка, как счастье, будь она неладна. Дорвались!

Валентиныч за два года работы Митяя машинистом тепловоза, стал в этой семье своим. «Напарник, как брат родной, – обнимая за плечо низкорослого, но коренастого сорокадвухлетнего Игоря Валентиновича, как сапогами по плацу чеканя каждое слово, говорил Дмитрий, представляя гостя отцу с матерью. – Я без его плеча рядом и на километр не приближусь к этой длиннохвостой агрегатине на рельсах». Рано потерявший родных, вскормленный в одесских детдомах, Валентиныч, казалось, каждым уголочком своей души привязался к Митькиным родителям, как к родным, называя Софью Николаевну не иначе как мамушка Софа.

– Для русского мужика свобода – одно что пьянка, – продолжил Валентиныч свою мысль, понижая голос. – А мы ведь в полмеры-то не умеем. В пол-хлёста что за гульба? Нам же на выхлест чёшется. Обязательно надо чтоб продрало до самых поджилок печёночных. Аж в дугу чтоб скрутило – тогда хорошо-о-о!

– А чем, тебе, брат, свобода-то не угодила? – облокотившись на подоконник, выкрашенный месяц назад молочного цвета краской, удивился Митяй. – По-моему, намного лучше, чем при пустых совдеповских витринах да идейной диктатуре эсеса в кепи – кэпээсеса.

– Много вы понимаете, головы зелепушные, – авторитетно заговорил Степан Никифорович, затягиваясь. – Свобода, она ж как баба. В неё войдёшь – и всё. Имей тепереча хошь не хошь. Живи теперь с ею. И сноровись только против шёрстки вздыбить, попробуй чего поперёк вякнуть – что есть под рукой, тем и по лбу. Так по плечи

хрястнет – не дай боже. Со свободой с вашей аккуратно надо, как с бабой. Тут особый подход нужен. Ты думаешь, под себя её, а не тут-то было. Взбалмошная она больно. Что на ум ейный взбредёт – всё, упрётся как рогом в землю. Ты ей и так, мол, и сяк. А всё без толку. Жить не даст. Изведёт. А своего всё одно – выканючит. Пораскинешь потом извилиной – чего упирался? Одни убытки: сервизу тёткой ещё дарёного нету – вдребезги ухнула; брюк моих нету – случайно прожгла, невинная отрыжка, всю штанину; у меня вон, думаешь, плешь эта откуда взялась? – он, наклонил голову, постукивая указательным пальцем по неровной округлости лысины, размером с маленькое кофейное блюдце. – От годов, думаешь, или от ума? Нет, дорогой – от дури! Пытался с ейным характером, как со свободой твоей, справиться. Думал, что вы... – хотел что-то продолжить Степан Никифорович, но оборвав свои рассуждения на полуслове, забыв про самокрутку, вмиг ссутулившись, уставился на шумно открывшуюся дверь.

На пороге стояла его жена. Платок сбит набок. Волосы, всегда гладко уложенные, странно топорщились.

– Курей у соседей подавил. Вот! – громко выдохнула она и подняла на вытянутой руке курицу, негодную уже ни для жизни, ни для супа. Я же сказала, нельзя его сразу-то выпускать! – губы Софьи Николаевны задрожали. – Пусть недельку на длинном поводке побегает, попривыкнет. Теперь что соседям объяснять?! Нечо сказать – наро-обили! – она опустила на порог, плечики её и без того худенькие сжались, став как-то ещё меньше, задрожали, и, не сдерживая слёз, обречённо и с горьким укором выдавила, – А расхлёбывать кому?

Бросив своё занятие, Степан Никифорович, почти бегом кинулся в запечную комнату, из которой стремительно появился уже с ружьём.

– Бать, не надо! – поднялся Митяй. – Бакса прибьёшь, как по душе моей выстрелишь. Я его с собой увезу.

После этих слов Степан Никифорович осел на порог рядом с всхлипывающей женой, обессилено опустив ружьё.

– С собой он его увезёт! Ты его излови сперва.

Митяй, распахнул окно и выпрыгнул на улицу. Валентиныч, пометавшись по комнате попытался было пробраться через порог, но там, обняв мать, молча застыл Степан Никифорович, сиганул вслед за Митяем. А тот уже сидел у калитки перед лежащим пыльным Баксом, которой прижав морду к земле, виновато смотрел на защитника. Валентиныч сел рядом.

– На цепь садить? – поинтересовался он у друга.

Но вместо ответа Валентинычу, Митяй обратился к Баксу:

– Иди, садись на цепь, раз свободу не ценишь.

Бакс то ли пошёл, то ли пополз к своей будке. Лёг возле неё пластом, взяв в зубы цепь, продолжая виновато поглядывать на Митяя.

– Ты, смотри, всё понимает, стервец! – восхищённо пробурчал Валентиныч.

– Ну всё, друг, – строго сказал Митяй, пристёгивая цепь к ошейнику пса. – Теперь затаись мышью до завтра. Утром поедешь в наморднике в город, где ни кур, ни просторов тебе деревенских – одни машины, да поезда.

Едва он успел пристегнуть и договорить, как, не выпуская курицы из рук, к ним коршуном подлетела мамушка Софа. Через руку сына, она ударила курицей

Бакса по морде с одной стороны, другой. При каждом ударе Бакс молча закрывал заслезившиеся глаза, но как лежал, так и продолжал лежать, ещё плотнее прижимаясь к земле. Наконец, Софья Николаевна рухнула около пса, выбросила в сторону курицу, и, обняв Бакса, зарыдала.

Мужики, поняв, что успокаивать Софью Николаевну пока бесполезно, тихонько вернулись в хату, оставив открытой дверь, через которую долго ещё доносились рыдания и всхлипы матушки, вперемешку с обвинениями, объяснениями Баксу:

– Вот, уедешь теперь от нас с отцом. И что мы, думаешь, железные? Думаешь, скучать не будем? Вот, что натворил?! Ты, хоть маленько подумал, кому расхлёбывать? Мне? Все вы, мужики, одинаковые – наробят, а бабе потом расхлёбывай...

1997 г.